



**Г. Д. ГАЧЕВ**

**Что есть истина?**

**Прение о правде и лжи в «На дне» М. Горького\***

<...> Далеко ли то время, когда бури и споры кипели вокруг горьковских пьес? Теперь даже если они и идут на сцене театра, то смысл их кажется привычно ясным и однозначным. Хрестоматийная пора для них уже наступила. Попробуем взглянуть на Горького в свете проблем, волнующих современное мировое искусство.

Их средоточие — проблема человека. Мы видим, как... все, даже прекрасные, вещи, создаваемые трудом человека, противостоят ему как чуждая ему сила, сламывающая его душу и волю к счастью. Это, по выражению Маркса, отчуждение классового общества и производства от человека, когда «созданное людьми поработило и обезличило их», как писал Горький в «Челкаше», обозначилось уже на рубеже XIX–XX веков и предстало для искусства как один из главных вопросов наступающего нового века. Теперь вопрос уже не нов. Внутри него уже открыты сотни сторон и проблем, но именно поэтому нам стало труднее выявить его главную суть. И вот здесь нам приходит на помощь Горький, в творчестве которого совершалось первооткрытие всей этой проблемы. Столкновение человека и отчуждённого от него мира вещей предстаёт у Горького в простоте и ясности, всегда присущих первичной постановке вопроса.

Выступив с самого начала своего творчества со страстным убеждением, что человек велик и прекрасен, что его творчество и его счастье — высшие ценности на земле, Горький сразу же столкнулся с той трудностью, что он мог об этом сколько угодно заявлять, кричать, петь, но доказать этого не мог. Всем очевидные факты жизни говорили, что

---

\* Статья написана в 1960 г. Впервые опубли.: Театр. М., 1966. № 12. Печатается с сокращениями.

роль человека в жизни становится всё более мелка и незначительна, что за его счёт крупнеют города и вещи. В весьма меланхолической сказке «О Чиже, который лгал, и о Дятле, любителе истины» автор с горечью вынужден признать, что все «упрямые вещи» — факты, логика вещей — опровергают идеи Чижа и вытесняют их в сферу «нас возвышающего обмана». Зато позиция Дятла логически безупречна и оккупирует сферу правды, истины. Тем не менее человек не может смириться с этой «правдой» и поёт славу «безумству храбрых». Но почему же безумству? Почему «ум» должен оставаться на стороне Ужа, а Соколу выпадает удел слыть чудаком? Не таится ли какой-то «подвох» в самом сложившемся у людей понимании ума и истины? А раз так, то что же такое правда?

Таков комплекс вопросов, который волновал Горького с самого начала его творчества и до конца его жизни. Он и оставил нам идею действенного, практического гуманизма, по которой правда живёт не вне людей, но создаётся людьми в ходе творчества и революционного преобразования жизни во имя Человека. Это капитальное для всего искусства XX века художественное открытие мы рассмотрим подробнее на примере пьесы «На дне», одного из самых ёмких по мысли творений Горького.

«На дне» — это прение о правде. Здесь все (разные люди — разные миросозерцания) идут на штурм правды. Это слово чаще всего упоминается в пьесе — чаще даже, чем слово “человек”. Это — притча о правде, её катехизис: пьеса строится как цепь вопросов и ответов. Одни в иступлении проклинают правду, другие с не меньшей остервенелостью и даже самоубийственным злорадством тычут себе и людям в лицо эту правду... Но кто знает, что она такое?

Тот революционный шаг в логике мышления, на который в пьесе «На дне» отважился Горький, состоял в том, что он прямо связал, перекинул мост между понятиями «человек» и «правда» (истина). В завершающих споры о правде и человеке монологах Сатина эта мысль формулируется чётко: «Что такое — правда? Человек — вот правда». «Существует только человек, всё остальное (в том числе и правда. — Г. Г.) — дело его рук и его мозга». В «На дне» Горький и пытается уяснить и себе и людям: как рождается правда, на что она опирается?

Горький заостряет вопрос до предела: раз интерес Человека не находит себе выражения на языке «логики фактов», то, следовательно, на этом языке говорит чей-то другой интерес. Если Дятел упрекал Чижа за то, что его речи о счастье и красоте неистинны, ибо не бескорыстны, и Чиж вынужден был признать себя побеждённым, то теперь вопрос ставится иначе: а так ли уж бескорыстна сама обвинительница — «бес-

пристрастная» логика фактов? Не говорит ли её устами какое-то другое, враждебное человеку начало?

Сама постановка вопроса о том, что у мышления, истин и фактов есть фундамент, сразу сбивала спесь с логически точно выдержанных, непротиворечивых суждений и доказательств дятла «с фактами в руках», ибо решительно заявляла, что не истина, с которой должно человечество сверяться, сама по себе существует, но человечество в своей жизни само творит и свергает истины, подобно тому, как оно творит и свергает все «факты», всех богов. Вот почему полную правду можно получить не в споре одних мыслей, а в столкновении мыслей («правд»), просвещенных и тут же сопоставляемых с реальным существованием вообще и высказывающих их людей в особенности. «Не в слове — дело, а — почему слово говорится», — говорит Лука Бубнову и Барону, смеющимся над рассказом Насти о любви к ней Рауля. С этой точки зрения большей реальностью обладает не «факт» — была эта встреча у Насти «на самом деле» или она вычитана ею в книжке «Роковая любовь», — а внутренняя потребность Насти в такой любви, которая может и не сбыться (это — сфера «обстоятельств»), не стать «фактом». Сама эта внутренняя потребность более всего характерна для Насти, и она, а не свершение, не «дело», должна стать основанием для суждения о ней, о том, что она такое. Но поскольку эта потребность не отделилась от Насти и не вылилась в какой-то факт её жизни, то свидетелей этой её сущности нет, доказать её нельзя. А так как правдой (истиной) привыкли считать лишь доказуемое, то есть то, что имеет предметное существование отдельно от человека, то и получается абсолютное расхождение правды о Насте и правды Насти, так что «правда» (Настя — есть проститутка, фантазёрка и т. д.) абсолютно не улавливает её истинной сути.

Между тем, по Горькому, реальным существованием обладает прежде всего человек как бесконечный потенциал фактов, поступков, дел, мыслей; а всё, что от него отделяется, есть частичное и часто ложное его осуществление. Речь не об оценке социально-исторического человека России того времени — об этом ниже, — речь о взаимном отражении человека и его дел. Факт и мысль могут быть поняты лишь в сращении с человеком, их автором. Потому «верить» и «знать» у Горького в «На дне» подчёркнуто отождествляются. «Лука. Я — знаю... Я — верю».

«Существует только человек, всё же остальное — дело его рук и его мозга» (Сатин) — вот второе основоположение исповедуемой Горьким в «На дне» философии. Следовательно, если правда, объективная истина должна опираться на что-то более глубокое, чем она сама, то, по Горькому, этой опорой является Человек. Лишь человек обладает реальным бытием.

Человек оказывается лишним, выкинутым на дно, в осадок бытия (или, может быть, «дно» следует понимать как глубинную его основу, где лишь и выявляется сущность?). Спокойно говорит Бубнов Насте: «Ты везде лишняя... Да и все люди на земле — лишние».

На основе такого отчуждённого от человека бытия и формируется отчуждённая от человека, не на доверии человеку, не на сращении с ним, а на «фактах» и «доказательствах» строящаяся «логика вещей» (как точно это её наименование!), которая рассматривает человека в ракурсе вещей: принимая их за фундаментальное основание, а не вещи — в ракурсе человека.

И вот как глаголет эта объективная, «железная» логика вещей и какие правды извлекаются её способом в пьесе «На дне»:

«Костылёв (Лука). Неудобство, видно, имеешь на одном-то месте жить?»

*Лука.* Под лежач камень — сказано, — и вода не течёт...

*Костылёв.* То — камень, а человек должен на одном месте жить...»

Вот с точностью определена разница в нынешнем положении предметного мира и человека: «камень», то есть, предметный мир, выстроенный людьми, между прочим, и из камней, обладает самодвижением, чуть ли не свободой воли: для него-то действительной оказывается поговорка «под лежач камень и вода не течёт», созданная первоначально для человека, чтобы выразить его свойство двигаться, хотеть, проявлять волю и т.д. Теперь же, напротив, камень принял прежнее свойство человека, а человек — свойства камня: должен выполнять его («камня») волю, а для этого должен быть в удобном для хозяина положении, всегда на нужном месте (чтобы, когда господин пожелает его взять, он нашёл бы его, как инструмент, на прежней полочке). Тот же Костылёв уточняет: «Нельзя, чтобы люди вроде тараканов жили... Куда кто хочет, туда и ползёт... Человек должен определять себя к месту... Не путаться зря по земле». Если раньше вещи лежали на земле «зря», пока человек не придавал им место и форму, то теперь человек, оказывается, существует «зря» и вынужден, как виноватый, непрерывно оправдываться перед вещным миром, что от его существования есть польза:

«*Лука.* А если которому — везде место?»

*Костылёв.* Стало быть, он — бродяга, — бесполезный человек».

Итак, «человек должен определять себя к месту». Тем самым место становится определением для человека. И на вопрос: что такое этот человек? — «логика вещей» даёт точное, основанное на «фактах» (месте), знание: то-то и то-то.

Лука, как не привязанный ни к какому месту и цели, — есть никто, пустой человек, а вот полицейский Медведев уже заполнен обще-

ственным содержанием, есть кто-то. В последнем действии Бубнов доказывает ему, что он уже тоже никто:

«Ты, брат, теперь — тю-тю! Ты уже не будошник... конечно! И не будошник, и не дядя...

*Алёшка.* А просто тёткин муж!

*Бубнов.* Одна твоя племянница в тюрьме, другая — помирает...

*Медведев (гордо).* Врёшь! Она — не помирает: она у меня без вести пропала!»

Человек ещё жадно цепляется за формулу «логики вещей»; «без вести пропала» — может, она что-нибудь ещё да значит и делает его всё-таки «дядей». Это — самоуверенность личности, вроде фразы: «Мой организм отравлен алкоголем», — которая делает для Актера ещё достоверным его существование на белом свете.

«*Бубнов.* Всё равно, брат! Человек без племянниц — не дядя!»

Итак, любое определение от другого исходит: «дядя» зависит от существования племянниц; «будошник» — от будки. Лишь определение Человека себе довлеет. «Есть — люди, а есть — иные — и человеки», — говорит Лука. Хозяин ночлежки Костылёв этого различения не понимает.

«*Костылёв.* Ты не мудри... Что такое — люди и человеки?

*Лука.* Вот ты, примерно... Ежели тебе сам Господь Бог скажет: Михаиле! Будь человеком! — ...всё равно — никакого толку не будет... как ты есть — так и останешься...

*Костылёв.* А я... ты знаешь...» (Следует типичнейший ход отчуждённого сознания: о себе индивиду нечего сказать, и он сразу опирает себя на другое существование.) «...У жены моей дядя — полицейский? И если я...»

Итак, «я — есть муж племянницы полицейского» — вот что в определении себя как человека может сказать Костылёв. В то же время «системой координат» этих отчуждённых правд совершенно не улавливаются человеческие сущности людей. Мы-то, например, бьёмся и гадаем, что такое Сатин, воспевающий гимн Человеку, каков его характер, духовный мир и т.д. А вот верящий в порядок и закон («Надо жить честно!») Татарин, оказывается, точно знает, что такое Сатин: «*Татарин* (Сатину). Мешай карта! Хорошо мешай! знаем мы, какой-такой ты», — имея в виду точное определение: «Человек Сатин — есть шулер». Так и полицейский Медведев спокойно и уверенно заявляет встреченному впервые страннику — Луке, что он всех здешних людей знает:

«*Медведев.* Как будто я тебя не знаю...

*Лука.* А остальных людей — всех знаешь?

*Медведев.* В своём участке я должен всех знать... а тебя вот — не знаю...

*Лука.* Это оттого, дядя, что земля-то не вся в твоём участке помещилась... осталось маленько и опричь его...»

Раз правда живёт вне человека, то человек объявляется потенциальной, заведомой ложью, так что он всё время стоит под подозрением (что религии выражали в идее «первородного греха»). «*Бубнов.* И чего это — человек врать так любит. Всегда — как перед следователем стоит, право». Мир отчуждения со своей якобы «объективной» правдой (логикой) вещей есть непрерывный суд, «процесс» над человеком.

Потому и покинутый правдой человек, не веря себе, мечется, ищет её, смысл жизни в мире вокруг себя и вопиет, вопрошает:

«*Клещ.* Где правда? (Треплет руками лохмотья на себе.) Вот — правда! Работы нет... силы нет! Вот — правда! Пристанища... пристанища нету!» Клещ здесь совершенно точно перечислил те признаки, на которых строится правда о нём: он словно даёт себе свидетельство о благосостоянии («лохмотья»), свидетельство о месте работы («работы нет»), сведения о местожительстве («пристанища нету»), и по всем статьям выходит, что он обладает нулевым существованием.

Итак, бесчеловечные общественные отношения привели к тому, что человек и правда встали в островраждебные отношения друг к другу. «Логика вещей» видит в этом слабость и трусость человека смотреть правде, «фактам» прямо в глаза (вспомним размышления Ужа после смерти Сокола). Но Горький в этом прозревает лживость и мнимость самой этой «правды», пустоту и бессодержательность «истин», добываемых «точной», от человека не зависящей логикой.

Но если наличная «логика вещей», выработанная в очищенном от человека мире, действует только в этих пределах (как механика Ньютона всё же действительна в особых пределах — даже после революции в естествознании конца XIX века и в XX веке), то как освоить мыслью новую правду о человеке, которая не только приоткрылась человечеству на рубеже XIX–XX веков, но всё более настойчиво стала вторгаться, взрывать мир вещей и его логику, проявляясь прямо в революционных переворотах.

Очевидно, первое условие для выработки этой новой логики «человекоправды» — это обнаружить в существующей жизни такую реальность, где законы, интересы и логика мира отчуждения теряют свою силу и где бытие (нет! — по сути дела — небытие) оказывается такой сферой. И «На дне» есть не что иное, как «Разговоры в царстве мёртвых» (ср. диалоги Лукиана), ибо все эти люди — изгои, «лишние», не нужные обществу, а с другой стороны, само это общество (и ничто в нём) им не нужно. Сюда вытеснен Человек из мира отчуждения, и слесарь Клещ, спускаясь к концу пьесы на дно, тем самым возвышается в Человека.

Итак, перед нами — царство «не от мира сего». Здесь люди никуда не торопятся, не преследуют никаких целей. Никакого изнутри идущего движения, событийного конфликта здесь нет. И те действия, поступки, столкновения интересов, которые всё-таки в пьесе совершаются, вторгаются сюда сверху, это — толчки с поверхности, а не со дна. Единственная событийная фабула в пьесе — это сюжетная линия отношений Василисы — Костылёва — Пепла — Наташи. Страсть Василисы к Ваське и её стремление удалить с пути ненавистного ей мужа и приводит в третьем акте к драке, убийству, а затем — к каторге. И в четвёртом акте опять на дне — игры, возлияния, философствования о смысле жизни, Человеке и т. д.

Правда, в этом абсолютном состоянии нирваны находятся лишь двое из обитателей ночлежки: Сатин и Бубнов. Они уже избавились от желаний и стремлений, страха смерти и великодушно добры (как Сатин) или великодушно злы (как Бубнов) к людям. Да, они — две ипостаси одного состояния свободы и свободного человека. И Сатин (а не только Бубнов) циничен: походя, равнодушно разрушает иллюзии, — так он рушит мечту Актёра — «ложь» Луки о лечебнице для «органов», и в результате Актёр кончает с собой. С другой стороны, и Бубнов благожелателен и добродушен. В четвёртом акте он всех угощает водкой: «Я, брат, угощать люблю! Кабы я был богатый... я бы... бесплатный трактир устроил! Ей-богу! с музыкой и чтобы хор певцов... Приходи, пей, ешь, слушай песни... отводи душу!»

У них жизнь течёт без страданий, легко: даже Лука с наибольшим любопытством приглядывается к Сатину, чувствуя в нём какую-то абсолютную уравновешенность, устойчивость.

«Лука. Весёлый ты, — Костянтин, — приятной!.. Легко ты жизнь переносишь! А вот давеча тут... слесарь — так взвыл — а-а-ай!

*Сатин.* Клец?»

Почему же Сатин ощущает жизнь как благо, счастье, радость, а Клец — как непрерывное несчастье и страдание? Сатин превозмогает цели, не полагает их вне себя, а Клец целеустремлён: мечтает «работать», чтобы вырваться со дна — «в люди». Целеустремлённость здесь выступает как качество, унижающее человека, опутывающее его отношениями мира отчуждения и обесчеловечивающее его. Эта лёгкость в жизни и характере человека — есть нечто противоестественное в мире, где люди привязаны к вещам и перетягиваются от одной вещи (места) к другой через интересы, цели, заботы; человек думает, что это изнутри его идущие проявления (акты) его воли: на самом же деле — это сквозь него проходящие магнитные силовые линии, тяготения, возникающие как отношения между вещами, в которые втянут человек. И эту силу тяжести человек непрерывно ощущает. Здесь же

есть гармонии с самим собой и бытием. «Хорошо это — чувствовать себя человеком! — говорит Сатин. (Он не хотел бы стать Человеком, он есть таков. — Г. Г.) — Я — арестант, убийца, шулер — ну да!» (Даёт он себе определение по месту в системе вещей: он не привязан к вещам, а отвязывает их с им присущих мест («вор»), не им служит, а играет ими («шулер»), и потому вещи хотят прицепить его к себе силой («арестант»). — Г. Г.)

«Когда я иду по улице, — люди смотрят на меня, как на жулика... и сторонятся и оглядываются... и часто говорят мне — мерзавец! Шарлатан! Работай! Работай? Для чего? Чтобы быть сытым? (Хочошет.) Я всегда презирал людей, которые слишком заботятся о том, чтобы быть сытыми. Не в этом дело, Барон! Не в этом дело! Человек — выше! Человек — выше сытости!»

Итак, Сатин идёт по улице совсем не стыдливо, а празднично, горделиво, чувствуя себя Человеком, стократ более остро и мощно оттого, что рабы вещей и сытости — пищат на него. Он Человек — совсем не смотря на то, что он шулер или «хотя» он шулер; — не по принципу «и в рубище почтенна добродетель»... В «На дне» люди дна — это те, кто по своей воле или подвигнутые на это обществом преступили черту общества отчуждения. Отверженные! Униженные! Оскорблённые! Несчастные! — сочувствует им добродетельное буржуазное сознание, самоудовлетворённо ощущая себя-то правильно, разумно и счастливо живущим.

И вдруг каким-то ошеломляющим логическим ходом Горький показывает, что эти люди испытывают истинное счастье и веселье жизни, что они чувствуют в себе присутствие Человека, горды и не променяют своё состояние на рабство у корыстных целей и интересов...

Таким образом «дно» выступает, как такая сфера жизни, где может складываться способ мышления, противоположный «логике вещей»... На дне, где нет вещей и интересов, нет корыстного, практического, материального отношения к ним. От них остались лишь бесплотные сущности: понятия, мысли, названия, слова, и ими непрерывно перебрасываются, обмениваются люди дна. Но зато в этом вакууме создаётся исключительно благоприятная среда для просвечивания понятий, слов, которыми орудуют в мире поверхности. Сатин и Бубнов и действуют, и живут прежде всего как существа лишь мыслящие. Действие в «На дне» — это прежде всего движение понятий, и по жанру эта пьеса близка к философскому диалогу, в котором Сатин и Бубнов играют роль софистов, а Лука — роль Сократа. Сходство это совсем не внешнее. Как в эпоху Платона только начинала складываться логика вещей и надо было устанавливать твёрдые, самостоятельные понятия, не зависящие от индивидуальности человека,

так в эпоху Горького, когда развитие жизни стало взрывать мир отчуждения и его логику, потребовалась новая чистка человеческих понятий. Её и проводит непрерывно литература XX века, которой так присущ жанр философского спора (А. Франс, Г. Ибсен, Б. Шоу, Р. Роллан, Томас Манн и т. д.). Анализируя «На дне», мы поэтому во многом имеем дело с основной проблематикой всей художественной мысли XX века.

Итак, в «На дне» развивается действие понятий, и оно поначалу далеко превосходит своей интенсивностью материальные действия персонажей. Так в первом акте невозможным делом оказывается... подмести ночлежку. Метла переходит из рук в руки, точнее, друг к другу переходят слова о том, что надо бы подмести и именно тебе и почему (всё это каждым обосновывается логично), пока вновь пришедший постоялец Лука как новенький не приносит при поступлении эту искипительную жертву...

Да, но зато в сфере сознания движение совершается, и интенсивное. Сама жизнь здесь, на дне, произвела предельное абстрагирование человека от отношений, связей, целей, которыми «наверху» руководствуются люди в объяснении жизни.

«Клещ. Ничего нет! Один человек... один весь тут». Потому здесь так легко растворяется и «остраняется» содержание всех определений, понятий: что есть человек, жизнь, стыд, совесть, правда и т. д., выявляется их реальная суть и ценность, откуда она берётся, и может быть обнаружена прямая связь всех этих «высоких» понятий (совесть, честь) с отношениями отчуждённого бытия.

Это особенно ясно видно по людям, ещё лишь спускающимся на дно. Так, Клещ до смерти Анны был не просто «человек», а ещё был «муж» и «слесарь». Эти два определения у него остались от отношений и связей мира поверхности, — и то они вели между собой бешеную борьбу: стать самим собой «слесарь» в Клеще сможет лишь если убьёт в себе «мужа».

«Какие они люди? — с презрением говорит он Ваське Пеплу о ночлежниках. — Рвань, золотая рота... люди! Я — рабочий человек... мне глядеть на них стыдно... Я с малых лет работаю... Ты думаешь, я не вырвусь отсюда? Вылезу... кожу сдеру, а вылезу... Вот погоди... умрёт жена... Я здесь полгода прожил... а всё равно, как шесть лет...

*Пепел.* Никто здесь — тебя не хуже... Напрасно ты говоришь...

*Клещ.* Не хуже! Живут без чести, без совести...

*Пепел* (равнодушно). А куда они — честь, совесть? На ноги вместо сапогов... не наденешь ни чести, ни совести».

Итак, формируясь в «логике вещей», все прекрасные понятия, такие, как труд, стыд, честь и совесть, сразу же совершают первое

преступление перед человеком: они рождают спесь, высокомерие, презрение, неуважение к людям, словом, сразу же, как первородный грех свой, несут в классовом обществе — бесчеловечность. Смотрите: Клещ, который лишь на одну ступеньку ещё стоит над “дном”, уже не видит в своих сожителях людей: ему застила глаза его рабочая гордость, стыд и совесть. И вполне закономерно в его устах является следующее бессознательное и многозначительнейшее признание: «Ты думаешь, я не вырвусь отсюда? Вылезу... кожу сдери, а вылезу... Вот погоди... умрёт жена...»

Оказывается, его стыд, совесть и т.д. требуют чуть ли не человеческих жертвоприношений: пока жива жена Клеща, необходимость кормить и заботиться о ней связывает ему руки и мешает его целеустремлённости. Живя в человеке, такие добродетели, как целеустремлённость, стыд и совесть, побуждают его не только презирать дальних, но лютой ненавистью ненавидеть прежде всего — ближних своих. Итак, как только человек дал себя на йоту связать хоть одним, пусть самым прекрасным, отношением, целью, понятием из сферы отчуждённых отношений (таким даже, как честь, совесть), он немедленно перестаёт быть человеком, а лишь рабочим, честным, совестливым и т.д. и становится беспощадным врагом людям, которому ни до кого нет дела: пусть издохнут все, а он будет честным! В голос с Клещом именно это прямо проговаривает родственный ему Татарин, который чтит “закон”.

«*Кривой Зоб* (благодарушно). Чудак ты, Асан! Ты — пойми! Коли им честно жить начать, они в три дня с голоду издохнут...

*Татарин*. А мне какое дело! Надо честно жить!»

Насколько великодушнее и человечнее «жулики»! «Нет на свете людей лучше воров!» — заявляет Сатин (а он-то знает, что есть Человек!), на что Клещ вновь упрямо твердит: «(Угрюмо.) Им легко деньги достаются... Они — не работают...» Его прекрасный принцип: «работать!» — имеет высшей целью, оказывается, деньги, которые не дадут ему умереть с голоду, — вот суть и призвание Человека. Для вора Пепла деньги лишь частная подробность, средство бытия: он не загнипнотизирован ими. Рабочая же гордость Клеща и законлюбие Татарина питаются соками злобы и зависти. А те, «жулики», даже к ним добры и снисходительны: зовут их чай и водку пить. И в конце пьесы даже Татарин и Клещ оттаивают, становятся человеками (когда у них обрубались все цели и все надежды выбиться «в люди»)...

Но оказывается — много человеку надо. И самоубийство Актёра в момент, когда все жители ночлежки сливаются в братском единении... сразу опрокидывает красоту свободной жизни на «дне». Да, человек

здесь свободен, но он и абсолютно пуст, живёт лишь отрицательным содержанием. И его красота носит тоже пустой, отрицательный характер: в нём лишь нет той гнусности и рабства, в котором живут и мечутся люди поверхности.

И вот перед нами раскрывается новая бездна: труднейшая задача позитивного творчества. Для этой задачи опускание человека на дно было необходимым моментом, как забвение того ложного, чему учили, стирание отчуждённых писем, превращение души человеческой в *tabula rasa*, приуроченную для новой, положительной жизнедеятельности. Но что и как, какой мир и какая логика будут теперь вырастать на промытой и очищенной субстанции Человека? Эта проблематика связана в пьесе с образом Луки.

Для Луки убеждение, что все — люди, все — равны, то, к которому лишь в конце приходит Клещ, есть исходное. Он и является в ночлежку с этим заявлением, выговаривая его в первой же своей фразе:

«Лука. Мне — всё равно! Я и жуликов уважаю, по-моему, ни одна блоха — не плоха; все — чёрненькие, все — прыгают... так-то».

И не случайно Лука является в пьесе в тот момент, когда работа разрушения всех ценностей мира поверхности и его логики доведена уже до оргии отрицания. Ночлежники с упоением набрасываются на Клеща и одно за другим размалывают последние — коренные, казалось, твёрдые — основания «наддонного» бытия: труд, честность, совесть. И затравленный их «бесовской» софистической логикой и всё же не сгибающийся Клещ, как это ни парадоксально, предстаёт в этот момент последним оплотом и надеждой человеческого бытия: он всё же чего-то хочет, верит, надеется, стремится, не примиряется с тем, что небытие остаётся как единственная сфера, где человек может быть человеком.

У тех всё пусто, всё съедено отрицанием. У Клеща, пусть в изуродованной форме (бесчеловечность, жестокость), теплится ещё жажда положительного, содержательного бытия человека, представление о том, что это возможно. Бубнов и Сатин, как софисты, просто до логического предела доводят логику вещей и разрушают её её же силой, примеряя к ней её же собственные критерии, договаривая всё до конца, без иллюзий. Они разрушают это мышление, обнаруживают его пустоту, но и сами ещё не выходят из пределов «логики вещей», не подозревают о возможности другой (идея «человекоправды» является у Сатина в конце, после того как Лука «проквасил сожителей» и его в том числе).

Вот почему неизвестно ещё, на чьей стороне наши симпатии, точнее: в чьей позиции больше содержания — в позиции нелогичного, себе противоречащего Клеща, который косноязычно, но с чернозёмной

мощью веры и надежды, с яростью и болью глаголет о работе, стыде, чести и совести, или в бесстрастной логике Бубнова и Сатина, чьё спокойствие отдаёт холодом смерти (недаром Бубнов где-то в пьесе сравнивается с Вороном: это не Уж, но Ворон). И Клещ среди этих ливней цинической иронии воздевает руки горе и «бросает в небо богохульства» — и возвышается до той же сатанинской мощи, которой обладали все несгибаемые бунтари и мятежники: от Каина, Прометея и т. д.

Софистическая логика Сатина и Бубнова во имя правды разрушает все истины отчуждения, но и не даёт и не подозревает о «человекоправде», смешивая в одну кучу с ложью общества отчуждения — мечты Насти, Актёра, Клеща, Пепла и т. д., видя в них только самообман, иллюзии, но не прозревая в них качественно иное: потенцию положительного, творческого выявления каждым своей индивидуальной сущности как Человека. Эта несгибаемость Человека, выражающаяся в его вере в справедливую, прекрасную жизнь даже вопреки всем доказательствам логики вещей, выражена в притче о праведной земле — этой идейной сердцевине пьесы. Здесь сталкиваются друг с другом «человек» со своей верой, что праведная земля существует, и «учёный» с «верными» картами и планами, опровергающими веру человека как якобы иллюзию.

«Покажи ты мне, сделай милость, где лежит праведная земля и как туда дорога?» Он, «человек», конечно, не настолько ещё «учён», чтобы отдать себе отчёт в том, что он спрашивает одно (дорогу в другую землю), а имеет в виду другое (путь к другой жизни, иному её устройству). Но учёный-то уже настолько учён, чтобы не понимать человека и человеческое содержание в логическом вопросе. Человек задаёт вопрос в системе отсчёта: «Человек». А учёный его понимает в системе: «Логика вещей». Потому он и действует согласно её требованиям: раскладывает карты и ищет землю под названием «праведная». Учёный действует здесь, как запрограммированная кибернетическая машина, которая может дать ответ лишь в своей программе, — праведной земли не существует. Переносное значение «сигнала» ему не понятно. «Учёный» рассуждает здесь так же, как участковый Медведев, — ведь он, как специалист, есть тоже участковый: обо всей земле и человеке он рассуждает на основе своего участка (географии) и его логики. «Ну, тут и человек рассердился — как так? Жил-жил, терпел-терпел и всё верил — есть! А по планам выходит — нету! Грабёж... (Да, его самого ограбили, ибо вера в праведную землю и жила в его груди как его истинное “я”. — Г. Г.) И говорит он учёному: ах ты... сволочь эдакой! Подлец ты, а не учёный... да в ухо ему — раз! Да ещё!.. А после того пошёл домой и — удавился!»

Так заплатил свободный человек за свою веру — сам заплатил, по своей воле: никто его не тянул на это. Он есть именно тот, о ком Сатин говорит: «Человек — свободен... он за всё платит сам: за веру, за неверие, за любовь, за ум. Человек за всё платит сам, и потому он — свободен!» И этот акт свободной воли человека есть высшее доказательство тому, что «а всё-таки она вертится», что «праведная земля» есть, существует, никогда не умирает, ибо её обитель — не в квадратных километрах, а в воле людей, в сущности Человека. И за неё-то идёт непрерывная борьба на полях истории.

Итак, «человек» — это тот, в ком бьёт родник воли, желание лучшего. И этим он отличается и от мёртвых «людей» — роботов отчуждения и не менее мёртвых циников и софистов. Признаком, что живая жизнь бьёт в человеке, является его «хочу!».

В «На дне» это «хочу!» в самой чистой и ещё бессодержательной форме предстаёт в образе Алёшки. Он выражает мощь этой своей молодой жажды положительной жизни через истерическое отрицание всех желаний: «А я такой человек, что... ничего не желаю!» В этом Алёшка, кажется, сравнивается (в смысле «становится таким же») с Сатиным и Бубновым, достигает их свободы от каких-либо целей.

Но зачем же кричать об этом так надсадно? Бери пример с мэтров небытия! Ни Сатин, ни Бубнов об этом не говорят, а просто живут, ничего не желая. И вот как только «ничего не хочу!» выступило в этой форме — в истошном крике Алёшки, — это уже означает само разоблачение жизни на дне, как якобы естественной для свободного человека. Нет, такое существование есть предел противоестественности, абсолютно враждебно человеческой природе. «Не хочу!» как крик уже есть могучее и страстное: «Хочу!».

«Лука (добродушно). Эх, парень, запутался ты...» И вот вся деятельность Луки далее будет заключаться в том, чтобы помочь людям распутать себя, свою сущность. Но не даром с ним, с Алёшкой, Лука говорит добродушно: уже тем, что в нём так мучительно рвётся наружу желание, Алёшка отторгнут от сатинско-бубновского небытия и принадлежит миру живых. И вот отсюда — из несломленной индивидуальности каждого человека — исходит источник всего в том искомом мире, который пытается строить Лука: «Он (человек. — Г. Г.) каков ни есть, а всегда своей цены стоит».

Итак, каждый индивид — источник особого качества, неведомого миру. Потому, если для участкового Медведева каждый человек ясен («Я знаю всех»): весь исчерпывается своим местом, и для него «пачпорт» есть всё, что есть человек; — то для Луки каждый человек есть Икс, неизвестность, влекущая загадки. «Все, милачок, — говорит он Сатину, — как есть, для лучшего живут! Потому-то всякого человека

и уважать надо... неизвестно ведь нам, кто он такой, зачем родился и что сделать может... может, он родился-то на счастье нам... для большой нам пользы?..»

Это и есть руководящая максима и в поведении с людьми и в познании их. Лука и выступает, как повивальная бабка, помогающая разродиться этой священной для мира сути каждого человека, этому заведомо удивительному, ещё не ведомому ни миру, ни себе существу, которое, может, одарит человечество великими делами и мыслями. Но как выявить эту индивидуальную сущность (правду) каждого человека? Это самый сложный вопрос, и в пьесе намечен лишь первый шаг, который можно сделать на этом пути. Но хоть он и первый, нельзя его недооценивать, ибо, как первый, он и совершает основной перелом в жизни человека: побуждает его жить не автоматически, по воле вещей, а из себя, творчески («*Сатин*. Старик живёт из себя, он на всё смотрит своими глазами»).

Началом этого творчества и является мечта каждого человека. Она всегда есть первое произведение его сокровенной человеческой правды, ещё не превратившейся в предмет, в безличную истину, но сращённая с его «я». Вот почему мечта (вымысел) выступает у Горького как важнейшая гносеологическая категория для познания человеческой (а не отчуждённой) правды о данном человеке. И вся деятельность Луки состоит в том, что он, как медиум, улавливает сигналы индивидуальной мечты, излучающиеся от каждого человека, и даёт этой мечте оформиться в целое. Тем самым и их мечта, впервые найдя отклик, понимание, начинает крепнуть, а с ней крепнет доверие человека к самому себе, и он оказывается способен к первому в жизни самостоятельному действию, на котором лежал бы отпечаток его человеческой личности (а не лишь воли обстоятельств и вещей). Речь здесь ещё не о содержании мечты — он заполняется окружающей действительностью. Речь о мечте как о волевом акте.

Как оформляется эта мечта? Ещё до прихода Луки каждый носит в себе её прообраз: Анна мечтает о покое, Настя — о красивой любви, Актёр носит смутную память — мечту о себе как актёре и т. д. Но никто не принимает всерьёз мечты друг друга. Это вроде люди выдумывают себя. Лука же, едва появившись, сразу обращает внимание и на слёзы, которыми, читая, обливается Настя, и на фразу «мой организм отравлен алкоголем», через которую Актёр выдумывает себя. Через эти «зацепки» он начинает извлекать внутреннюю суть каждого человека. Но настолько велик гипноз привычки думать, что всё истинное и ценное находится вне человека, живёт само собой, что люди ищут и своей правды лишь вне себя. И когда она, их собственная сущность

и мечта, является им, они сами не верят ей, уличают её в обмане. И Пепел и Актёр поначалу не верят Луке, когда одному он советует ехать в Сибирь трудиться, а другому — готовиться к «лечебнице для органонов», а пока перестать пить.

«Лука. А хорошая сторона — Сибирь! Золотая сторона! Кто в силе да в разуме, тому там — как огурцу в парнике.

Пепел. Старик! Зачем ты всё врешь?.. Там у тебя хорошо, здесь хорошо... ведь врешь! На што?»

Вот она, «логика вещей»: она привыкла определять человека местом, и потому месту присущи различия, атрибуты — «хорошо» или «плохо», — и не может везде быть хорошо; в одном месте — хорошо, а в другом (Сибири, например) — плохо. Лука же вообще отменяет такое измерение и утверждает, что человек с собой носит «хорошо», и одно и то же место — Сибирь — разное (каторга — или «золотая страна»), есть функция воли: свободной или отчуждённой волей является человек на это место. И если человек нашёл себя, ему везде хорошо: он красит место. Эта логика пока непонятна Ваське Пеплу.

Непонятна она поначалу и Актёру. Но идёт время, и они с пафосом, изнутри высказывают то же самое, чему с опаской не верили, когда это им говорил Лука: Васька Пепел уговаривает Наташу ехать с ним в Сибирь; Актёр, вспомнив любимые стихи, готов идти на край света.

Но, собственно говоря, не преувеличиваем ли мы значение того, что делает Лука? Ведь все советы, с помощью которых он извлекает из людей их мечту и пробуждает их «я», носят совершенно банальный характер: Анне он рассказывает сказку о царствии небесном, перепетую не раз и не пять. Ваське Пеплу предлагает ехать на освоение Сибири, что уже тогда, в начале XX века, осуществляли в России сотни тысяч поощряемых государством переселенцев. Ещё и того беднее «идеал», который он пробуждает в Актёре, — бросить пить. Все эти душевспасительные идеи, если посмотреть на них абстрактно, сами по себе тривиальны, постоянно функционируют в обществе и непрерывно являются людям как требования, императивы, максимы со стороны вне них существующего мира: пить — вредно; работать в Сибири — выгодно и для государства и для тебя; верь в лучшее будущее и т.д. Нет, ничего нового не открывает Лука в мире вещей и идей.

Зато он делает большее: он раскупоривает человека, открывает его самому себе и, следовательно, миру. Не важно, что первые, самостоятельны из себя порождённые людьми желания, стремления, цели носят ещё такой бедный характер, важно, что они возникли

принципиально иным путём: не как навязывание человеку требований со стороны («надо»), а как изнутри пульсирующая самодеятельность, как «хочу». Так что затем это «хочу» уже вырастает и обретает мощь и твёрдость объективно существующего всеобщего принципа жизни. Ведь не кто иной, как вор Васька Пепел заговорил в итоге языком «надо»: «Надо жить так, чтобы самому себя можно мне было уважать». Специфическая природа этой изнутри человека идущей активности как раз в том и состоит, что ей нельзя сразу точно указать (и познать) форму и дорогу — их человек сам должен найти и подарить миру. И если Клещ сетует на «старика» (Луку), что он «поманил их («сожителей») куда-то... а сам — дорогу не сказал», то он этим выразил лишь начальную ступень пробуждающегося самосознания, которое уже чутко улавливает зов, но нуждается ещё в помочах, чтобы сделать первый шаг.

Пробудить человека Лука должен и нарочито самым пустым, банальным и ни к чему в будущем не обязывающим конкретным содержанием совета, цели (чтобы он, пробудившись, опять не оказался связан в поисках своего пути верностью указаниям Луки). Лука подсказывает лишь элементарную форму — опору для первого самостоятельного шага в жизни, чтобы далее, опрокинув её, эту форму — опору — человек мог бы идти сам, своим путём. Сатин высокомерно третирует эту первую помощь людям: он недоволен тем, что Лука их не бросает сразу в реку, чтобы они сами научились плавать по принципу естественного отбора сильных и слабых.

*«Сатин (смеясь). И вообще... для многих был... как мякиш для беззубых...»*

*Барон (смеясь). Как пластырь для нарывов».*

Для Луки нет этого животного, абстрактного для человека деления, оно у него более содержательно и человечно: человек «каков ни есть — а всегда своей цены стоит...» И вся задача человека: выявив свою цену, открыть для человечества новый всеобщий принцип «цены» (оценивания) человека. А деление на сильных и слабых — есть как раз априорный принцип оценки человека, как раз заранее перерезающий возможность проявиться в будущем новой, его индивидуальной сущности («цене»). По этому принципу человечество не имело бы ни Гоголя, ни Канта, ни других творцов, болезненных в детстве, когда не видно ещё было своей «цены» этих людей, а видно уже было, что они не дотягивают до цены «сильных».

Следовательно, помочь людям встать на ноги, пробудив в них веру в себя, есть великая и сложная задача; и «ложь» (то есть то, что выступает ложью, фантазией с точки зрения логики вещей) для этого первого акта является стократ более правдоносной (чреватой в бу-

дущем индивидуальной “человекоправдой”), чем та абстрактная правда, на устойчивость к которой Сатин и Бубнов предлагают сразу выверять человека: «По-моему — вали всю правду, как она есть! Чего стесняться?»

«Правдоносность» того, что названо «утешительной ложью» Луки, ярко видна в пробуждении человека в Актёре. Лука-то побуждает его всего-навсего к тому, чтобы бросить пить. Но результатом этого, с помощью мечты о «лечебнице для органовов», начавшегося возрождения Актёра было то, что он «вспомнил любимое» (стихотворение). «А в любимом — вся душа», как говорит ему Лука. То есть Актёр уже из себя, самостоятельно, породил такой идеал красоты, который самому Луке недоступен. (Когда Актёр предлагает ему почитать стихи, он непонятливо переспрашивает: «Стихи-и? А на что они мне, стихи-то? Актёр. Это — смешно... А иногда грустно». Для Луки, как для толстовца какого-нибудь, театр, поэзия есть совсем пустое и непонятное дело.)

Следовательно, для той роли, которую осуществляет Лука, — зажигать собственную правду каждого человека, — как раз и нужно, чтобы он в себе не нёс никакой своей особенной правды (идеала), кроме этой способности быть эхом любой особенной правды. Его идеал, его индивидуальная активность и форма должна состоять в том, чтобы быть Протеем, то есть чтобы не иметь своей формы и принимать в любой момент форму и суть человека, с которым он имеет дело. И естественно, что обликом для такой русской «всеобщей индивидуальности» явился уютный спорный старичок: он и мудр (в нём — всеобщий опыт: и от женщин он полысел и в Сибири сторожем служил, то есть он есть всезнание), и деятелен (странник с котомкой: «старикау везде место»). Он мягок, пластичен и эластичен. «Мяли много, оттого и мягок», — признаётся Лука Анне. Мягкость его и есть эта предельная активность его сущности, которая проявляется в её самоисчезновении, расслаблении, полной пассивности, благодаря чему и может суть другого человека отпечататься в нём, как в воске.

Лука — это всеобщее движущееся отражение или бродячее самосознание бытия. Его движение по бытию есть зажигание самосознания в других людях: и в них, в их воскресших или впервые найденных ими своих индивидуальных сущностях, и «опредмечивается» шествие Луки. Он, как гегелевский «дух», в своём шествии всё время, в каждой точке сливается полностью (до совпадения) с тем или иным человеческим существованием (его сознанием).

Теперь понятно нам должно стать, почему Лука, когда воплощается в одного и говорит его индивидуальностью, «врёт», с точки зрения

индивидуальности другого. Но в свою очередь этот, когда Лука входит в него, ошеломлён его точным проникновением в его душу, полным знанием его истины.

И вот посмотрим, какой мир оставил после себя Лука. Четвёртое действие пьесы — это уже не вяло и ворчливо идущие «разговоры в царстве мёртвых» (как в первом действии), но разговоры, происходящие, «когда мы, мёртвые, пробуждаемся». Все полны какого-то свежего задора, силы, молодости, любви, понимания и в то же время живой ненависти и презрения друг к другу и непонимания друг друга. Словом, это уже индивидуальные страсти, и они, забушевав, вздыбили людей на прямое столкновение их сущностей и правд. Каждый выдвигает своё понимание старика, и следовательно всеобщего смысла жизни, и обвиняет всех остальных в абсолютном непонимании (ибо Лука сам всех понимал, но не оставил ключа, чтобы людям самим понимать друг друга)...

Следуют далее знаменитые монологи Сатина, где всё выше вздымается всеобщая мысль и правда о Человеке и жизни, которая начинает карабкаться на этот Монблан уже с первых секунд четвёртого действия: в робких репликах Клеца о жалости, в полурусской речи Татарина о законе и т. д.

В них впервые найдены точные слова для выражения идеи «человекомира» и наиболее полно в форме прямых логических тезисов развернута гуманистическая концепция Горького... Здесь вроде осуществлено средствами мысли соединение людей во Человеке, создание единого понятия о Человеке. Но точно и только ли понятие это?

Здесь ошеломляет волевой напор этого размышления о Человеке. Мысль движется не связной цепью силлогизмов, доказательств, обоснований одного другим. Нет, это — огненная зажигательная речь оракула, вождя, пророка, выражающаяся в лавине афоризмов. А афоризм есть мысль, подкреплённая и сращённая с волей, требующая своего приятия сразу, на веру, а не через доказательства; стремящаяся через мысль завоевать душу, сердце людей. Монологи Сатина — это стремление логики превзойти свои границы и выйти сразу в мир действия. Это своего рода заклинания, магические действия со словами. Сатин, который в первом акте вяло соединял опостылевшие слова — через многоточия, — здесь соединяет их волевым напором: посредством тире, перебрасывая мост через ещё не освоенные мыслью бездны и пустоты.

Но монологи Сатина не суть кульминации четвёртого акта пьесы. Действие идёт дальше и уже покидает сферу мышления, разговоров и переходит в более высокую и трудную (ибо она ниже, ближе к жизни) сферу поступков. И здесь одно за другим совершаются людьми «дна»

свободные деяния: впервые щедр и добр к людям Клещ и ни за что ни про что чинит гармонь Алёшке. Алёшка уже не вопит истошно: «Я такой человек, что... ничего не желаю! Ничего не хочу и — шабаш!» — но шутит и увеселяет всех своей артистической игрой на гармошке. Барон впервые задумался над жизнью, которую прошёл как во сне, словно не с ним она случилась. А Настя впервые отвела душу в наслаждении мести, издеваясь над рассказом Барона о своём прошлом. Но кульминация всё нарастает: Бубнов! Ворон Бубнов приходит добрый и щедрый, угощает всех; и бывший полицейский Медведев и педантичный Татарин размягчаются; и вот уже звучит песня, — все сливаются во всеобщем воодушевлении, и сердца звучат в гармонии друг с другом. В песне найдено то всепонимание друг друга, согласие мыслей о жизни и старике, которое никак не удавалось достигнуть путём рассуждений (см. начало четвёртого действия).

И наконец, совершается последнее и здесь высшее деяние свободной воли пробудившейся индивидуальности. Это — самоубийство Актёра. Оно испортило песню (так же, как песня перед этим «испортила» рассуждение). Вот она, последовательность и иерархия форм освоения «человекомира»: мысль, песня, поступок. Она вдруг начисто перечёркивает ту компромиссную форму свободного бытия человека внутри рамок общества отчуждения, которое осуществляется людьми «дна» во всеобщем братании: в самозабвении прекрасного размышления (монологи Сатина), пьянки, пляски или песни. Да, в них, в пределах микромира «дна», действительно достигается полное раскрепощение, апофеоз свободы, счастливого самоощущения каждым себя — Человеком; но именно в пределах этого микромира, отведённого обществом отчуждения свободным людям. Самоубийство же Актёра есть самовзрывание дна, бунт против вообще всякого внутреннего или внешнего ограничения свободы Человека, радости и счастья. Оно есть покушение идеала Человека на всю жизнь сразу, во всей её толще: со дна её океана до поверхности. Оно одновременно является отвержением той первой ступени человекопознания, которую осуществлял Лука.

И этим уже «На дне» выводит нас в проблематику последующего этапа творчества Горького, отражённого уже в пьесе «Враги» и романе «Мать», когда он находит путь соединения идеала Человека с практическим действием в обществе.

В «На дне» этого выхода ещё нет. Лука, «старая дрожжа», сделал своё дело: «проквасил сожителей», как говорит о нём Сатин. В людях проснулся идеал Человека — и это первая ступень в постройке нового «человекомира». Она выступает как пробуждение хаотической множественности людских «я»: воль, стремлений, правд.

Пробудившись в людях, идеал человека так и остался закупоренным в каждом из них, не в состоянии воздействовать на мир. До сих пор понимал всех Лука. Ему лишь до всего дело. Он всех соединял с собой поодиночке, но не друг с другом. Он и был воплощённым их единством, и когда он был среди них, люди ощущали свою общность. Даже когда он ушёл, в четвёртом действии «На дне», всех соединяет хотя бы разговор о нём. Лука и был как бы их общим делом. Теперь оно исчезло, и люди вновь лишены понимания друг друга. Чтобы оно могло состояться, должно родиться в жизни людей такое дело, которое будет одновременно и «его», и «твоим», и общим делом. Оно лишь и может стать оплотом, почвой и верой людей в себя и их переливания друг в друга, а следовательно, взаимного понимания, знания и новой логики <...>.

